Нефритовые сны

Автор:
Андрей Неклюдов

Нефритовые сны

Андрей Неклюдов

В этой повести петербургского писателя Андрея Неклюдова с предельной откровенностью описываются интимные стороны человеческой жизни, эротические сновидения, фантазии, переплетающиеся с явью. Автором выведен образ современного Дон-Жуана, одержимого не столько коллекционированием любовных связей, сколько страстным (и в конце концов губительным для него) стремлением отыскать в женщине самую сокровенную, самую пронзительную струну ее загадочного естества, стремлением найти предел наслаждения. В повести имеется все, чтобы взбудоражить, увлечь, а возможно, и возмутить читателя. «Андрей Неклюдов пишет предельно откровенно, без малейшего стеснения, обнажая и с научной дотошностью препарируя самые сокровенные, порою стыдные пружины наших желаний. Многие, прочитав (и пережив!) эту повесть, вспомнят собственное становление, свои первые сексуальные опыты, и смогут честно признаться: „Да это же было и со мной!“» (Лев Куклин, писатель, поэт, литературный критик)

«Нефритовые сны»… оставляют впечатление, будто тебя вывернули наизнанку и выставили на всеобщее обозрение» (Анна Варенберг, писатель, редактор журнала «Эротикон»)

Книга адресована искушенному читателю, ценителю тонкой, психологической эротики.

Андрей Неклюдов

НЕФРИТОВЫЕ СНЫ

Повесть

Нефритовые сны

Лист I

Пустота… Покинув меня, Эля оставила мне пустоту. Она лишила меня дыхания. Я – рыба, оказавшаяся на суше после отлива. Я таращу глаза и разеваю вхолостую немой рот. Эта пустота (я чувствую!) по капле высасывает мой разум. Когда же удается ненадолго забыться и задремать – меня донимают тягостные видения. В них я как будто лежу, обнаженный, на скользкой каменной скамье, сродни тем, что в пору моего детства можно было встретить (да и теперь, наверное, встречаются) в общественных банях. Я лежу на такой скамье, а со всех сторон на меня медленно надвигаются женщины. Множество разноликих женщин, знакомых и вроде бы никогда прежде не встречавшихся. Все они в длинных белых сорочках. И ни одна из них не улыбается. Они обступают меня тесным живым кольцом – столь тесным, что делается сумрачно, стягивают с себя рубашки, обмакивают в тазу с водой и принимаются этими рубашками меня омывать… И мне все труднее убедить себя, что это сон.

С другой стороны, вся моя жизнь представляется мне сейчас как бесконечное, неотвязное сновидение со своими кошмарами и сладостными, непередаваемо сладостными сценами.

Где начало этого сна? Мне чудится, что если я докопаюсь до истоков и прослежу всю цепь, тогда я что-то пойму и это принесет облегчение. Но быть может, я

лишь тщусь обмануть пустоту и еще раз потешить себя пережитым? Пусть так, мне незачем перед собой притворяться.

…А началось это, пожалуй, очень и очень давно. С одного странного случая…

Наверное, не я один – многие – испытывали в детстве эти надрывные, муторные, как насильственная щекотка, падения во сне. Когда душа словно выпархивает из тела и летит где-то рядышком, и от этого возникает тошнотворное ощущение вакуума внутри тела. Мучительно-приторные ощущения быстро нарастают до нестерпимости, до немого крика, и ты пробуждаешься, прежде чем достигнешь самой нижней точки траектории, – с гулко бьющимся сердцем и дыханием сорвавшегося с веревки висельника. Считается, что таким образом ребенок переживает процесс своего роста,[1 - Мнения психологов на этот счет расходятся – Ред.] но у меня на это иная точка зрения.

Однажды в раннем детстве, ночью, не покидая своей постели, я в очередной раз устремился в какой-то бездонный провал. И догадываясь, что это сон, я из непонятного мрачного любопытства попытался продлить, не пробуждаясь, это тягостное испытание. Однако чем дальше, тем труднее было выносить эту пытку, и я уж согласен был проснуться… но что-то не срабатывало, и я продолжал падать в черноту. Казалось, и сам я обращаюсь в эту черноту, чернею, как чернеет, обугливаясь, горящий лист бумаги. Но вдруг… словно чьи-то невидимые ладони поймали меня. И стали играть со мной, как играют с мячом. Трудно описать словами, что это была за игра: какие-то радостные взлеты и кружения, какие-то внутренние вытягивания, сужения, замедления и ускорения, чудесные и переливчатые. Сравнить их можно разве что с музыкой, но музыкой без звуков; еще не родившейся, не обретшей плоть музыкой. Я всецело отдался этому восторгу, упоению, нежнейшим, ласкающим касаниям…

Мне было тогда три с половиной года, меня одолевала скарлатина, и, судя по позднейшим скупым рассказам родителей, я едва не умер в ту ночь. И вот теперь мне думается, что тогда-то в меня и вселилось нечто.

Лист II

Родители мои – люди самые заурядные и, по нынешним понятиям, более чем строгие в отношении морали, скованные этой моралью, как наручниками. Сколько помню себя, я вечно был отделен от их супружеского гнезда то какими-то клеенчатыми шторками, то – позднее – плотно затворенными дверьми – родительской спальни и детской. Почему-то мне кажется, что я испытывал бы к ним больше симпатии, не прячь они от меня столь бдительно свои тела, как прячет вор ворованное.

Как-то я признался матери, что мне мерещатся перед сном голые женщины, и был сурово пристыжен. Учитывая обидчивость и замкнутость моей тогдашней натуры, легко догадаться, что то был последний всплеск откровенности.

Отец трудился в какой-то строительной конторе, и трудится, наверное, поныне, если только не вышел на пенсию. Мать преподавала музыку… Иногда на дому она давала частные уроки фортепьяно тихим застенчивым девочкам, которые мне, четырехлетнему малышу, представлялись завидно большими. Возясь здесь же в комнате, я то и дело с упорно повторяющейся неловкостью закатывал мячик под черный одноногий табурет, с тем чтобы лишний раз мимолетно взглянуть на бледные коленки и на туфельки, едва касающиеся двух золотистых педалей грандиозного инструмента. Даже сейчас, по прошествии стольких лет, я вижу эти коленки и туфельки так явственно и живо, словно это происходило не далее, чем на прошлой неделе.

Помнится, меня манили всевозможные укромные уголки – заполненная одеждой теснота массивного платяного шкафа, слабо отдающего лаком, темная нора между спинкой дивана и стеной – заповедник ночных тайн и пыли. Какое-то неизъяснимое, почти что интимное удовольствие испытывал я, просиживая там часами. В другой раз, запершись в туалете и почувствовав себя в совершенном уединении, я погружался в мир фантастических, постыдных грез. Мне воображалось, будто я, сделавшись маленьким, совсем крохотным человечком, соскальзываю в унитаз, и мощная клокочущая струя воды уносит меня в неведомые мне подземные глубины. Я проскакиваю по каким-то темным шахтам и, волшебным образом оставшись не замаранным, качусь дальше вниз по наклонному каменному желобу, пока не оказываюсь в просторном поземном царстве. В нем есть свет, почва под ногами, деревья, и так же ходят люди, но в отличие от известного мне мира, люди здесь без одежд, чему способствует и по-летнему теплый воздух. Никто никого не стыдится, и вообще земные законы и запреты тут не имеют силы. И я тоже с радостью сбрасываю с себя одежду. Я брожу среди голеньких девочек и нагих взрослых женщин и с замиранием

сердца сознаю, что любую из них можно не страшась рассматривать… Дальше фантазия не заходила, ибо и так уже от избытка эмоций я пребывал в каком-то полуобмороке. В чувства меня приводил обычно раздраженный стук в дверь и голос кого-либо из родителей: «Ты там, случайно, не уснул?»

Или вспоминаю другое: вечером в кухне я отмачиваю в тазу с теплой водой свои чумазые, исцарапанные, зудящие от мыла кисти рук. Неприметно мной овладевает… сон не сон, а, скорее, какое-то туманное забытье. Мне воображается, будто я погружаю руки во влагу, излившуюся из скрытого источника на женском теле – взрослой ли девочки с четвертого этажа (пяти– или шестиклассницы), на которой я тайно мечтал жениться, маленькой ли задиристой сверстницы из моей группы в детсаду, или же моей симпатичной двоюродной сестрицы, с которой нас однажды мыли вместе, и я воочию убедился в принципиальном отличии девочек от мальчиков. Мытье рук, таким образом, превращалось для меня в неторопливый торжественный ритуал, который мать порой грубо прерывала, отобрав таз и сунув мне в руки жесткое вафельное полотенце.

Что-то ритуальное сквозило и в сновидениях той поры. Почему-то и в них зачастую являлся видоизмененный идеализированный образ туалета. Впрочем, это обширное, отделанное белой глянцевой плиткой помещение напоминало также и баню, в какой я бывал раза два с отцом. Вдоль стен тянулись шеренгой кабинки, похожие на душевые, посредине блестели мокрые приземистые каменные скамьи. И было полно обнаженных людей обоего пола. Все они безмолвствовали, и лица не выражали ничего, кроме спокойствия и умиротворения. Но одновременно это был туалет: многие сидели на корточках в открытых отсеках – рядышком или напротив друг друга… Струилась вода, стоял банный туман, кто-то шлепал по плиткам босыми ступнями, кто-то лежал навзничь на каменной скамье. По соседству с моей кабинкой так же не таясь присела какая-то девочка. И было нечто языческое, что-то завораживающее и заманчиво-обещающее в этом всеобщем бесстыдстве.

Лист III

Примерно до шестилетнего возраста я не задумывался всерьез над вопросом, отчего весь живой мир разделен на мужскую и женскую составляющие, верил,

будто дети рождаются из женщин сами по себе, как грибы в лесу, и их каким-то не совсем ясным способом извлекают из животика. Между тем, женщины несомненно таили в себе какую-то загадку и возбуждали естественное любопытство как существа, не схожие в своем строении со мной. Собственный мужской атрибут, казалось, давно исчерпал свои возможности и не сулил как будто уже ничего нового. А такие распространенные среди моих уличных приятелей забавы, как: кто дальше всех пустит струю или чей «солдатик» быстрее примет стойку «смирно» – давно прискучили. Кое у кого фантазия заходила чуточку дальше. Так, белобрысый неопрятный Паша сотворял и демонстрировал нам так называемую «черепашку», целиком упрятав свое добро в оттянутую лиловую мошонку. Санькин отросток «пищал» – издавал едва уловимые тоскливые звуки в результате варварских безжалостных скручиваний и оттягиваний. А толстый, щекастый, с вечной испариной на лбу Вовчик изощренно морил пойманных живьем мух, заточая их под морщинистую шторку крайней плоти. Однако все это вызывало лишь дурацкий, до отвращения, смех и легкое поташнивание. Зато обратив мысленный взор к противоположному полу, я обмирал в немом восторге и нежной зависти, представляя, какие головокружительные возможности для тайных игр с самим собой дают особенности устройства женского тела. Хотя наверняка, с грустью думалось мне, найдутся глупышки, которые этими возможностями не пользуются – из-за стыдливости и строгого воспитания или по недогадливости. Как бы то ни было, но уже в ту далекую пору я расценивал женщин как более удачно оснащенный вариант человека.

Игры с участием девочек имели для меня особенную притягательность и волнующий пряный привкус. Сейчас я с улыбкой снисхождения вспоминаю те игры. Например, в «испорченный телефон», когда приходилось шептать какое-то слово в спрятавшееся среди завитков волос ушко соседки или она шептала в твое ухо, от чего щекотливые мурашки пробегали по шее и под мышками. Или в «пятнашки», когда стремишься не просто «запятнать», а схватить, почувствовать в руках верткое, трепетное тело. Помнится, я сам придумал игру: две или три девочки, мои дворовые подружки, зимой, вставали одна за другой, расставив ноги, а я проезжал под ними, лежа на санках лицом вверх. Я почти убежден, что и они, соучастницы этого развлечения, получали то неопределенное, странное удовольствие, постоянно возобновляющееся, сколько раз ни повторяй игру. И только взрослые с их поразительной близорукостью и неповоротливостью ума не видят в детских забавах (почти во всех) неброской пока еще сексуальной окраски.

Лист IV

Также и мои родители пребывали в счастливом неведении. Уверен: они даже теоретически не способны были допустить то, что проделывали мы с Алёной, моей двоюродной сестрицей.

В те далекие дни Аленка со своей матерью (отец ее где-то потерялся) частенько гостила у нас. В детской комнате в таких случаях ставилась раскладушка – для меня, а маленькую гостью укладывали на мою набело перестеленную кровать. Но как только свет гасился, затворялась дверь и стихали шаги взрослых, я после взволнованных замирающих перешептываний перебегал босиком через комнату и со сдавленным взвизгом заскакивал на свое законное место – сразу под одеяло.

О сне не было и помину. Трепеща, словно преступники, от страха и возбуждения, мы, повозившись, приступали к «нашей игре». Я забирался с головой под одеяло, где было душно и пахло совсем не так, как обычно пахла моя постель. Со смешным пукающим звуком, отчего губам становилось щекотно, я дул в маленькую аппетитную выемку ее пупка. Затем то же самое проделывала она, после чего осторожно трогала и пыталась дуть в мой напряженный стерженек, а я, поспешно сменив ее под одеялом, – в ее остро пахнувшую горьковатую раковинку.

Отчетливо помню, что при этом я, шестилетний ребенок, дошкольник, получал удовольствие, весьма схожее, как теперь могу сравнить, с удовольствием зрелого мужчины от близости с женщиной. Правда, удовольствие это было не настолько бурным и оказывалось как бы распределенным по всему телу. Казалось: меня ласково омывают теплые струи реки и уносят куда-то к неизведанным сказочным берегам. И моя восторженная нежность в неподвластном мне порыве устремлялась на эти тонкие, то раздвигающиеся, то сближающиеся ножки. Но внезапно, на самом отчаянном всплеске этой нежности и обожания все заканчивалось. Интерес мгновенно пропадал, сменяемый стыдом и брезгливостью. Я разочарованно брел в ванную и полоскал рот. Однако к следующей ночи вожделение возрождалось с прежней силой, я едва дожидался, когда погасят свет. И вся череда переживаний в точности повторялась.

Любопытная деталь. Алене ту пору едва исполнилось пять лет, и все же она вполне понимала, что под видом игры, не сознаваясь в том самим себе, мы доставляем друг другу запретное наслаждение и что эта игра – наша с ней сокровенная тайна. Так что днем ни один детский психолог, судя по нашему поведению, не установил бы, что между нами существуют какие-то иные отношения, кроме обыкновенных детских развлечений, ссор и даже потасовок. Да и мы сами днем едва ли помнили об этом. И теперь, будучи достаточно зрелым (язык не поворачивается назвать себя взрослым), глядя на пятилетних крох, я не в силах предположить, что они способны на нечто подобное, способны все понимать и хранить тайну, как та моя далекая первая партнерша.

Лист V

Лет этак в семь, но, верно, еще до школы, все в том же дворе я наконец прошел полную теоретическую подготовку по части интимных взаимоотношений мужчины и женщины. Техника дела с того времени стала мне более или менее понятной, она объясняла многие загадки. Между тем, процесс деторождения остался невыясненным до конца. Я с большим сомнением воспринимал бытовавшую в нашей мальчишеской среде версию о том, будто детишки появляются на свет в результате разрыва мужскими стараниями некой специальной пленочки, имеющейся у женщин (которая спустя время якобы восстанавливается). Получалось, что число удовольствий сводилось к числу рожденных детей… Другие неуверенно упоминали о какой-то крови, сопровождающей любовное соитие, и это также было неприятно и не хотелось этому верить. Оставалось убедиться во всем самому. На такой опыт я и отважился однажды с моим приятелем Санькой и двумя девочками-сверстницами из соседнего дома. Помню даже их имена: Танька и Светка. Обе они нередко участвовали в общих с нами развлечениях – лазили по деревьям, стояли вратарями на воротах и даже осмеливались несколько раз спускаться в подвал.

У меня крепко запечатлелся в памяти этот вечно темный, похожий на лабиринт подвал, расположенный под нашим домом и имевший несколько входов – из подъездов и через отдушины у наружных стен здания. У одной из таких отдушин после долгих уговоров и успокоительных заверений и был заключен наш двусторонний договор. Согласно этому договору, девчонки, спустившись вслед за нами в глубину подвала, должны были позволить нам проделать с ними все

то, что проделывают взрослые мужчины со взрослыми женщинами. Любопытство, соблазн прикосновения к взрослой тайне, таинственность самого подземелья, очевидно, пересилили в наших подружках прививаемую родителями осмотрительность и природную стыдливость.

В душном холодном сумраке подвала почти ничего нельзя было различить, кроме смутных расплывчатых силуэтов. В напряженной тишине я слышал свое громкое дыхание и стук сердца, а также – чье-то близкое пыхтенье и щелканье нательных резинок.

– Танька, ты где?

От волнения у меня подрагивали коленки. Неужто я сейчас испытаю это?…

Сдавленные смешки. Где-то рядом энергично сопел и поругивался Сашка:

– Стой, не шевелись… Замри! Да не сжимай ты ноги!

Нет, ничего не выходило. Наши с ним навостренные карандаши кривились, надламывались в основании, однако не желали, несмотря на встречные усилия партнерш, проникать туда, куда им, по идее, проникнуть полагалось. Санька, отчаявшись, решил, видимо, пустить в ход палец. Светка вскрикнула гневно и, судя по звуку, влепила ему оплеуху. На том эксперимент и завершился.

Вконец разочарованные, мы выбрались, отчаянно щурясь, на свет божий.

– Дураки вы!

Вот оно, женское непостоянство.

– А вы!.. – (Санькина прощальная тирада тем более не отличалась любезностью).

Черт… Выходит, что-то мы делали не так, есть, значит, какой-то дополнительный секрет… Обескураживало то, что во всем этом деле я не уловил и тени ожидаемого удовольствия. Вдобавок, с самого начала я испытывал опасение, что в случае, если задуманное осуществится, у Таньки мажет родиться от меня ребенок. Больше беспокоило не то, что с этим потенциальным

ребенком делать, а то, как объяснить родителям его появление. Ведь придется тогда сознаться в наших противоправных действиях. И наказания не избегнуть.

Таньку, видимо, тоже пугала возможность родов, даже после нашего неудавшегося акта. Но, в отличие от меня, она сильнее боялась самих родов, чем их последствий, и в конце концов выложила все начистоту своей матери.

Была поднята тревога. Санька вкусил ремня. Со мной же было проведено несколько нудных воспитательных бесед, в продолжение которых не раз повторялось с горестным покачиванием головы: «дурное влияние улицы», «оградить от влияния улицы». Оставался всего месяц до школы, и родители ограничились в отношении меня домашним арестом. И радовались возникшим у меня в этой связи похвальным, на их взгляд, увлечением: я часами изучал толстенные энциклопедические тома, таская их по несколько штук из зала в детскую. Между тем ни мать, ни отец не подозревали, что весь мой интерес сосредотачивался исключительно на вклеенных в книги репродукциях картин с изображением обнаженных или полуобнаженных натур – нимф, русалок, древнегреческих богинь и библейских дев.

Эти чарующие женщины с плавными, волнующе округлыми формами тепло освещенных тел не шли ни в какое сравнение с Танькой и Светкой с их цыплячьими ножками. Чего стоит хотя бы «Спящая Венера» Джорджоне или «Андромеда»[2 - Имеется в виду, очевидно, полотно Питера Пауэла Рубенса (1577–1640) «Персей и Андромеда» (около 1620–1621 гг.). – Ред.] Рубенса!

В своих дурманных грезах я охотно отдавал свою жизнь за то, чтобы хоть одна из этих картин ожила, и я был бы допущен к этим райским женщинам, прямо в их ласковые материнские объятия. И свершилось бы то, что не получилось у меня с Танькой… Нет, моя жизнь – слишком ничтожная цена за столь непомерное счастье. В обмен на жизнь я от силы мог бы рассчитывать поцеловать пальчик на божественной ножке. Но и на такую сделку я бы согласился без колебаний!

…Они являлись ко мне в сновидениях, молчаливые, с чуть приметной обольстительной улыбкой на устах, и обычно, подразнив меня, покачав бедрами, таяли в воздухе или превращались, едва я их касался, в каменные или ледяные фигуры, в птицу или в ящерицу.

Лист VI

Помню, я подолгу мог стоять у окна (мы жили тогда на первом этаже), наблюдая из-за края шторы, как какая-нибудь молодая домохозяйка развешивает во дворе на натянутой между столбов проволоке мокрое белье. Я неотрывно следил за каждым ее движением, и в те страстно ожидаемые мгновения, когда она тянулась особенно высоко и на подмогу мне подоспевал точно рассчитанный порыв ветерка – рассудок мой терял связь с действительностью. Радужный туман заволакивал глаза, и мысленно я оказывался в постели с этой женщиной – зрелой, развитой женщиной, распустившейся на полную силу, распустившейся настолько широко и полнокровно, что я тонул бы в ней, как мотылек – в ярком, сочном, сладострастно развернутом цветке.

Если у наблюдаемой женщины имелась дочка (такая же, как я, или младше), я включал в эту сказочную оргию и голенькую дочку, чтобы она барахталась и скользила между нами, усиливая дивное празднество. И с такой женщиной – не как с Танькой – несомненно, все было бы легко и восхитительно.

Или же я рисовал в воображении, как встречусь в подвале с той высокой сухопарой старшеклассницей с четвертого этажа. Она отправится за картошкой – в подвал, где у жильцов в специальных отсеках исстари хранились овощи и всякие соления. У нее погаснет фонарик, и мы столкнемся с ней в кромешной тьме, так что она никак не сможет меня опознать. Словно фавн или сатир, каких я видел на репродукциях в энциклопедии, я заключу ее в свои хищные объятия и буду целовать, прямо через платье, постепенно сбегая губами все ниже… (Хотя платье все-таки стоит расстегнуть.)

Милее всего было представлять себе, что она, поначалу сопротивляясь, пытаясь вырваться, вскоре присмиреет, обмякнет, и, более того (тут я испускал едва слышимый стон), безотчетно прижмет мою голову в момент, когда я опущусь перед ней на колени.

Искусительные видения настигали меня повсюду. Оказывался ли я на берегу озера, реки – мне мерещились русалки. Они захватывали меня в плен и замучивали своей русалочьей любовью до смерти. О, это была бы сладчайшая из смертей! Находясь в лесу, я мечтал встретить лесную нимфу, которая

околдовала бы меня, завлекла в чащу и погубила там своими чарами…

Но была у меня одна излюбленная фантазия, какой я предавался нечасто, как бы сберегая силу ее воздействия. Наилучшее время для нее было перед отходом ко сну, когда ничто не отвлекает, когда все представляется так ясно – гигантское дерево в лесной чаще, и спрятанный в его густой кроне домишко (похожий, скорее, на ящик), и люк в его днище, который надо еще отыскать… Случайное нажатие – люк отъезжает в сторону, и глазам открывается освещенное, обитое изнутри пухлыми атласными одеялами помещеньице. Но главное не в этом. Внутри комнатка полна прехорошеньких голеньких девчушек, и все они, по две, по три, сидя, лежа на мягком полу и стоя на четвереньках, ласкают друг дружку и перемешиваются в бесконечном хороводе. Блаженные улыбки, полуопущенные ресницы, едва слышимый лепет… Люк за мной закрывается, и теперь не существует никакой связи с тем скучным, серым, полным ограничений, запретов, неловкостей и стыда миром. Здесь безраздельно господствует одно – Наслаждение. С меня снимают одежду, и она тотчас бесследно исчезает, словно ее и не было. И вот я тоже включаюсь в фантастический хоровод, нежусь в дивном переплетении тел или же, расцепив какую-либо из самозабвенно слившихся парочек, становлюсь для них третьим звеном…

«Возможно ли в жизни хоть что-то похожее? – дыша пересохшим ртом, спрашивал я себя. – А если возможно, случится ли это когда-нибудь со мной?»

Лист VII

Удивляюсь, что на фоне моего раннего сексуального помрачения случались в том же малом возрасте моменты просветления – короткие периоды чистых помыслов и романтических сновидений.

Весь свет, все счастье этих снов заключалось в том, что рядом со мной в них находилась девочка – немного туманный, но очень живой, теплый образ. Я был с нею неразлучен. Мы вместе спасались от врагов, вместе купались в медлительной ласковой реке, что несла нас бережно в себе, как женщина несет плод, вместе бродили по улицам, и жизнь казалась нескончаемым праздником. Моя подружка была со мной рядом, а значит, и все остальное обретало цену.

В одном из снов она обладала умением летать. Зная эту ее способность, я обхватывал руками ее тонкую крепкую талию, и мы вдвоем поднимались в воздух – медленно и не очень высоко, так как со мной ей лететь было, наверное, тяжеловато. Но как это было восхитительно! Бывало, мы достигали края крыши какого-нибудь здания, я отталкивался от этого края ногами, и мы переваливали через дом, потом через другой – и так через весь город.

О, я был преисполнен благодарности и преданности моей маленькой летунье! Как бережно обращался я с нею, взглядом, ласковыми касаниями выражая свою безграничную любовь. Я оберегал ее, как высшую ценность. Случалось, я сражался, защищая ее, и убивал кого-то. Или погибал сам, и тогда она плакала надо мной так горько, что и я, хотя и мертвый, по сценарию, не мог удержаться от слез.

Кажется, никогда не являлось мне во снах ничего более подлинного, чем та моя подружка – близкая, осязаемая, с глазами, выражающими любовь и понимание – такую любовь и такое понимание, каких я не находил у людей так называемого реального мира – ни у родителей, ни у товарищей.

И насколько же тяжелым было пробуждение… Моя ладонь продолжала ощущать ее теплую, отвечающую мне пожатием ладошку, моя щека еще хранила прикосновение ее щеки, еще не развеялся запах ее кожи. И это было так явственно, так убедительно, что в первые минуты я отказывался принять правду. Ту правду, согласно которой моя спутница – лишь порождение спящего мозга, ее нет и никогда не существовало. Но вслед за тем на меня обрушивалось невыразимое горе. Я готов был жалобно скулить, готов был злобно рычать на кого-то, отобравшего у меня мое счастье. Весь мир делался холодным, чужим и не нужным, жить в нем без моей подружки не имело смысла. Надежда же, что она возродится в следующую ночь, а если не в следующую, то через неделю, две, утешала слабо. Я мог утешиться, лишь веря в действительность моей любви, а верить я мог только во сне. И в очередном сновидении я опять верил и любил, и опять безнадежно терял все на утро. В конце концов я притерпелся к этим лишениям, окончательно убедился, что ее нет. И тогда она перестала приходить.

Если принять гипотезу о параллельности миров, то можно растолковать эти сновидения как попытку некоего светлого начала отвоевать, вырвать мою душу из власти порочных влечений. А может, мне давалось понять, что счастье не удержишь, как не удержишь сон. Его, счастье, обязательно отнимут. Или,

подразнив тебя, оно убежит, растает, превратится в каменную или ледяную фигуру, в птицу или в ящерицу…

Лист VIII

Живущий во мне бес (или пока что бесенок) день ото дня зрел и изобретал все новые утехи. К тому времени, когда меня заточили в неуклюжий темно-синий костюмчик и нагрузили сумкой с книгами, то есть классе в первом или втором, он обучил меня некоторым штучкам, к которым я пристрастился сразу и безоглядно.

Во дворе нашей старой кирпичной школы, обнесенном железной оградой и засаженном березами – столь же старыми, как и сама школа, с трещинами на стволах – воспоминание о котором неотделимо от крепкого винного аромата прелых березовых листьев, стоял турник. Он представлял собой две достаточно высокие металлические стойки на растяжках с зеркально поблескивающей перекладиной между ними. Старшеклассники допрыгивали до перекладины с земли, младшим же приходилось вползать по стойке, по-червячьи обвивая ее ногами, стискивая пальцами рук всегда прохладную гладкую трубу. И вот взбираясь так однажды, я нежданно ощутил где-то внизу живота… нет, где-то даже вне меня, в окружающем меня прохладном осеннем воздухе, едва уловимый, но настойчивый, ласковый зуд. Я сильнее стиснул стойку ногами и весь сосредоточился на непривычных ощущениях, требующих развития, молящих, чтобы им не дали прекратиться. Потакая им, я старательно тянулся вверх и сползал вниз и снова тянулся, и зуд радостно, торжественно нарастал, усиливался, и вдруг… острое, никогда прежде не испытываемое ликование пронзило тело – дрожащее, потрясенное, трепещущее каждой клеточкой.

После того знаменательного события я почти ежедневно на большой перемене бежал к турнику. Чувства многократно обострялись, легче и скорее достигали своего пика, если во время моих «упражнений» со стороны школы, подобно гневному окрику, раздавался звонок. Вся ребятня от мала до велика, словно втягиваемая гигантским пылесосом, устремлялась к дверям здания, двор на глазах пустел, и лишь я один продолжал карабкаться по отполированному металлическому столбику, съезжал и снова карабкался. Меня охватывал притворный ужас: мои товарищи уже за партами, уже входит в класс учитель,

уже закрывает за собою дверь, а я… я все еще тут вишу… Я намеренно усугублял в себе это гибельное паническое отчаяние, а оно в свою очередь подхлестывало уже знакомую, бурную, неукротимо нарастающую волну ослепительного, оглушающего и такого, к сожалению, кратковременно счастья. И в тот миг, когда оно накатывало, меня не отвлекла бы ни сотня звонков, ни тысяча строгих учителей, ни угроза быть исключенным из школы. Секунда – и восторг сменяла мягкая равнодушная истома, нежное головокружение с мелодичным пением Сирен в ушах, и я обессилено съезжал по трубе до земли. Если бы в эти минуты сюда, к турнику, сбежалась вся школа, учителя, директор, родители, и все они, видя меня в таком постыдном положении и зная его подоплеку, клеймили бы меня позором – это лишь усилило бы мой тихий кайф. Такую именно картину своего позора я всякий раз и воображал.

А затем вдруг резко, точно электрическая лампочка в потемках подвала, включалось сознание, и ценности переворачивались, менялись местами: опоздание на урок становилось досадным недоразумением, а полученное удовольствие – сомнительным и грошовым. Чертыхаясь, с горьким чувством вины, я несся в класс, где уже полным ходом шел урок. А между тем мое маленькое кроткое чудовище какое-то время еще продолжало вздрагивать и томно, удовлетворенно вибрировать, как вибрирует грудь и спина мурлычущего котенка.

Мое пристрастие к турнику не могло остаться не замеченным.

– Весь класс на месте, а он все на столбе висит, для него звонка не существует! – обрушивался на меня гнев учительницы. И я мог лишь слегка утешиться, видя, насколько далека она в своем негодовании от истинной причины моего спортивного рвения.

Лист IX

Кстати, на уроках физкультуры, в просторном, гулком, пахнувшем мячами и матами школьном спортзале я сделал еще одно открытие, долгое время меня волновавшее. Оказалось, не я один умею получать то удовольствие, какое я получал на турнике. В день, когда мы сдавали ползанье по канату (происходило это, по-моему, в третьем или четвертом классе), как минимум у двух девочек-

одноклассниц я безошибочно распознал на лицах всю ту гамму переживаний, какую доводилось испытывать мне. Достигнув середины каната, они вдруг переставали продвигаться выше, а лишь беспомощно корчились на одном месте, поджимая и вытягивая вниз ноги и сдавливая ляжками толстый плетеный ствол каната. Искоса поглядывая на остальных (похоже было, никто ничего не заподазривал), я занимал такую позицию, откуда хорошо можно было видеть остекленевшие, слепо уставившиеся в пространство глаза сладострастницы, мерцающие туманным отсветом пьяного стыдного наслаждения. Но вот следовало нежно-усталое, блаженное (так мне виделось) оползание вниз и влажный, по-собачьи виноватый взгляд, направленный под ноги или в сторону, и оценка «два», смысл которой, очевидно, не скоро доходил до сознания незадачливой физкультурницы.

Наблюдая со стороны это безвольное соскальзывание вниз, я и сам испытывал слабость в ногах и едва сдерживал разогнавшееся дыхание. Я сопереживал добровольной мученице всем своим существом, тогда как остальные в своем неведении сохраняли полнейшее равнодушие. И все-таки один раз мне почудилось, будто физрук, заставлявший пухлую робкую девочку Валю, особенно долго висевшую на одном месте, снова и снова повторять ее трогательные потуги – мне показалось, что он догадывается… В его обычно холодных зрачках я уловил жадные похотливые (наверное, такие же, как у меня) огоньки. Хотя, возможно, то был лишь плод моего порочного воображения.

После тех незабываемых уроков физкультуры я проникся братскими чувствами к наблюдаемым мною двум одноклассницам, видя в них своих тайных сообщниц. И даже попытался сойтись с ними поближе, но обе, к моему огорчению, оказались на редкость пугливыми и замкнутыми особами.

Да, вспомнил еще! Такие ж переживания, как на турнике, я наловчился получать дома, в отсутствие родителей, используя для этой цели старинный, с фигурными резными бортиками по верху платяной шкаф. Я хватался руками за этот бортик и подтягивался, изо всех сил обжимая ногами полированный угол. При этом я внушал себе, будто под ногами у меня – сосущая, распахнутая пастью бездна. Для большей убедительности у верхнего уреза шкафа, как раз перед своим лицом, я прикреплял скотчем карандашный рисунок, на котором полуобнаженная девица висела над пропастью, держась за веревку, и лицо ее выражало одновременно отчаянный ужас и небесное наслаждение. Кстати сказать, я достиг немалого мастерства в создании такого рода картинок, чувственных и возбуждающих. Художественный процесс, помнится,

сопровождался интересными и нравившимися мне выделениями прозрачной тягучей жидкости, которая, засыхая, оставляла на внутренней стороне трусов как будто тоненькую блестящую слюдку.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Мнения психологов на этот счет расходятся – Ред.

2

Имеется в виду, очевидно, полотно Питера Пауэла Рубенса (1577–1640) «Персей и Андромеда» (около 1620–1621 гг.). – Ред.

Купить: https://tellnovel.com/ru/neklyudov_andrey/nefritovye-sny

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить